

Мусорный ветер / рассказ

Category: Некаýалар, Кітарсу

написано кітарсу | 23 января, 2025

Мусорный ветер / рассказ МУСОРНЫЙ ВЕТЕР

Посвящается тов. Цахову, германскому безработному, свидетелю на Лейпцигском процессе, заключенному в концлагере Гитлера.

Оставьте безумие мое.

И подайте тех,

Кто отнял мой ум.

«Тысяча и одна ночь»

Над землей взошла утренняя заря на небе, и начался новый сияющий день 16 июля 1933 года. Однако к одиннадцати часам утра этот день уже постарел от действия собственной излишней энергии – от жары, от пылящей ветхости почвы, затмившей пространство, от тления всякого живого дыхания, возбужденного реющим светом, – и летний день стал смутным, тяжким и вредоносным для зрения глаз.

Стихия света проникала через большое горячее окно и освещала одинокого спящего на железной кровати, на бедном белье, взволнованном сонными движениями. Спящий человек был не стар, но обыкновенное лицо его давно посерело от напряжения, с которым уснувший добывал себе жизнь, и непроходящее утомленное отчаяние с костяной твердостью лежало в выражении его лица, как часть поверхности человеческого тела.

Было воскресенье. Из другой комнаты квартиры вышла смуглая жена спящего человека, по имени Зельда, родом с Ближнего Востока, из русской Азии. Она с кроткой тщательностью накинула одеяло на обнажившегося мужа и побудила его:

– Вставай, Альберт. День наступил, я достану чего-нибудь...

Альберт открыл глаза – сначала один глаз, потом другой – и увидел все в мире таким неопределенным и чужим, что взволновался сердцем, сморщился и заплакал, как в детском ужасающем сновидении, когда вдруг чувствуется, что матери нету

нигде и вставшие, мутные предметы враждебно двигаются на маленького зажмурившегося человека... Зельда погладила Альберта по лицу, он успокоился, его глаза остановились – чистые, выгоревшие насквозь, глядящие неподвижно, как в слепоте. Он не мог сразу вспомнить, что он существует и что ему надо продолжать жить дальше, он забыл вес и чувство своего тела. Зельда ближе склонилась к нему, увядшая от голода афганка, некогда пышное и милое существо.

– Вставай, Альберт... У меня есть две картошки с ворванью.

Альберт Лихтенберг увидел с ожесточением, что его жена стала животным: пух на ее щеках превратился в шерсть, глаза сверкали бешенством и рот был наполнен слюной жадности и сладострастия; она произносила над лицом возгласы своего мертвого безумия. Альберт закричал на нее и отогнал прочь. Одеваясь, Лихтенберг видел, как плакала Зельда, улегшись на полу; нога ее заголилась – она была покрыта одичалыми волдырями от неопрятности зверя, она даже не зализывала их, она была хуже обезьяны, которая все же тщательно следит за своими органами.

Альберт взял трость и захотел уйти: он потемнел мыслью, эта бывшая женщина иссосала его молодость, она грызла его за бедность, за безработицу, за мужское бессилие и, голая, садилась верхом на него по ночам. Теперь она зверь, сволочь безумного сознания, а он до гроба, навсегда останется человеком, физиком космических пространств, и пусть голод томит его желудок до самого сердца – он не пойдет выше горла, и жизнь его спрячется в пещеру головы.

Альберт ударил тростью Зельду и вышел на улицу, в южную германскую провинцию. Звонили колокола римской веры, из небольшой уличной церкви выходили белые блаженные девушки с глазами, наполненными скорее сыростью любовной железы, чем слезами обожания Христа.

Альберт поглядел на солнце и улыбнулся ему, как далекому человеку. Нет, не солнце, не это всемирное сияние энергии, и не кометы, не бродячие черные звезды закончат человечество на земле: они слишком велики для такого небольшого действия. Люди сами затамят и растерзают себя, и лучшие упадут мертвыми в борьбе, а худшие обратятся в животных.

На крыльцо католического храма вышел римский священник, возбужденный, влажный и красный, – посол бога в виде мочевого отростка человека. Затем из церкви появились старухи, эти женщины, в которых кипевшие некогда страсти теперь текли гноем, и в чреве, в его гробовой темноте, истлевали части любви и материнства. Священник благословил с крыльца жаркое пространство и ушел в холодок своей квартиры на церковном дворе.

Мелкие колокола на башне еще продолжали звонить, вознося пропетые молитвы через готическую мучительную вершину храма в неясное небо, затуманенное зноем солнца. Вечные колокола звонили о том же, о чем писали газеты и книги, о чем играла музыка в ночных кафе: «Томись – томись – томись!»

Но уже двадцать лет слышал этот однообразный всемирный звук Альберт Лихтенберг: «Томись!» – и призыв к томлению, к замедлению, к уничтожению жизни все более усиливался, – одно лишь сердце билось невинно и ясно, как непорочное, как не понимающее ничего.

Альберт сел где-то в городе среди потоков жары; день продолжался над ним с тщательностью пустяка, с точностью государственной казни и с терпением неизвестного милосердия. Лихтенберг потрогал дерево, росшее перед ним. Внимательно и нежно он стал глядеть на это деревянное растение, мучимое тем же томленьем, тем же ожиданьем прохладного ветра в этом пыльном, душевном существовании.

– Кто ты? – спросил Лихтенберг.

Ветви и листья склонились к утомленному человеку. Альберт схватил близкую ветвь с той страстью и напряжением одинокого дружелюбия, перед которым вся блаженная любовь на земле незначительна. С дерева упали мертвые бабочки, но живая моль улетела в сухую пустоту.

Лихтенберг сжал трость в руке; он пошел дальше с яростью своего жесткого сознания, он чувствовал мысли в голове, вставшие, как щетина, продирающиеся сквозь кость. В тлеющем, измученном воздухе он увидел площадь города. Большой католический собор, как сонное тысячелетие, как организованное в камень страдание, стоял сосредоточенно и безмолвно, опираясь

глубоко в могилы своих строителей. Снизу поднимался мусор: человек сто национал-социалистов, в коричневой прозодежде своего мировоззрения, монтировали памятник Адольфу Гитлеру. Памятник был привезен готовым на грузовике, его отлили из качественной бронзы в Эссене. Другой грузовик, имея кран на своей площадке, сгрузил памятник вниз, а еще четыре грузовых машины одновременно привезли тропические растения в синих ящиках морского цвета. Национал-социалисты трудились, не жалея одежды; их белье прело от пота, кости изнашивались, но им хватало и одежды и колбасы, потому что в тот час миллионы машин и угрюмых людей напрягались в Германии, обслуживая трением металла и человеческих костей славу одного человека и его помощников.

Из центральной улицы города вышла единодушная толпа – в несколько тысяч человек, толпа пела песнь изнутри своей утробы – Лихтенберг ясно различал бас пищевода и тенор дрожащих кишок. Толпа приблизилась к памятнику; лица людей означали счастье: удовольствие силы и бессмыслия блестело на них, покой ночи и пищи был обеспечен для каждого темным могуществом их собственного количества. Они подошли к памятнику, и авангард толпы провозгласил хором приветствие – человеку, изображенному из бронзы, – а затем вступили в помощь работающим, и мусор поднялся от них с силой стихии, так что Лихтенберг почувствовал перхоть даже в своей душе. Другие тысячи и миллионы людей тоже топтали сейчас старую трудную землю Германии, выражая одной своей наличностью радость спасителю древней родины и современного человечества. Миллионы могли теперь не работать, а лишь приветствовать; кроме них, были еще сонмы и племена, которые сидели в канцеляриях и письменно, оптически, музыкально, мысленно, психически утверждали владычество гения-спасителя, оставаясь сами безмолвными и безымянными. Ни приветствующие, ни безмолвные не добывали даже черного хлеба, но ели масло, пили виноградное вино, кормили по одной верной жене. Сверх того, по Германии маршевыми колоннами ходили вооруженные армии, охраняющие славу правительства и порядок преданности ему, – эти колонны немых, сосредоточенных людей ежедневно питались ветчиной, и правительство

поддерживало в них героический дух безбрачия, но снабдило пипетками против заражения сифилисом от евреек (немецкие женщины сифилисом сознательно не болели, от них даже не исходило дурного запаха благодаря совершенному расовому устройству тела).

Лихтенберг тоже не трудился – он мучился. Все видимые им людские количества либо погибали от голода и безумия, либо шагали в рядах государственной охраны. Кто же кормил их пищей, одевал одеждой и снабжал роскошью власти и праздности?.. Где живет пролетариат? Или он утомился и умер, истратившись в труде и неизвестности? Кто же, бедный, могучий и молчаливый, содержит этот мир, который истощается в ужасе и остервенелой радости, а не в творчестве и ограждает себя частоколом идиологов? В изнеможении стоял Альберт Лихтенберг на старой католической площади, озираясь с удивлением в этом царстве мнимости; он и сам лишь с трудом чувствовал свое существование, напрягаясь для каждого воспоминания о самом себе; обычно же он себя постоянно забывал, может быть, излишек страдающего сознания выключал в нем жизнь, дабы она сохранилась хотя бы в своем грустном беспомыслии!..

Чуждый всякому соображению, равнодушный, как несуществующий, Лихтенберг подошел к радиатору грузовика. Трепещущий жар выходил из железа; тысячи людей, обратившись в металл, тяжело отдыхали в моторе, не требуя больше ни социализма, ни истины, питаясь одним дешевым газом. Лихтенберг прислонился лицом к машине, как к погибшему братству; сквозь щели радиатора он увидел могильную тьму механизма, в его теснинах заблудилось человечество и пало мертвым. Лишь изредка среди пустых заводов стояли немые рабочие; на каждого из них приходилось по десяти человек государственной гвардии, и каждый рабочий делал в день сто лошадиных сил, чтобы они кормили, утешали и вооружали господствующую стражу. Один убогий труженик содержал десять человек торжествующих господ, но эти десять господ, однако, не радовались, а жили в тревоге, сжимая оружие в руках – против бедных и одиноких.

Над радиатором автомобиля висела золотая полоска материи с надписью черными буквами: «Почитайте вождя германцев –

мудрого, мужественного, великого Адольфа! Вечная слава Гитлеру!» По обеим сторонам надписи были знаки свастики, как следы лапок насекомого.

– Прекрасный девятнадцатый век, ты ошибся! – сказал Лихтенберг в пыль воздуха, и мысль его вдруг остановилась, превратившись в физическую силу. Он поднял тяжелую трость и ударил ею машину в грудь – в радиатор, так, что смялись его соты. Национальный шофер молча вышел из-за руля и, сжав туловище худого физика, ударил его головой с равнозначной силой о тот же радиатор. Лихтенберг свалился в земной сор и там лежал без ощущения; это уже не было для него страданием – он и без того очень мало чувствовал себя, как насущное тело и как эгоиста, а голова его болела от сорной действительности больше, чем от ударов о железо...

Слабо белел день над его зрением, он глядел в него не моргая; пыль набилась в его глазницы, и оттуда текли слезы, чтобы смыть щекочущую грязь. Над ним стоял шофер; все съеденные им за свою жизнь животные – коровы, бараны, овцы, рыбы, раки, – переварившись внутри, оставили в лице и теле шофера свое выражение остервенения и глухой дикости. Лихтенберг встал, ткнул тростью животное туловище шофера и отошел от машины. Шофер остался в удивлении – перед таким фактом невнимательного мужества – и забыл вторично ударить Лихтенберга.

В пространстве шел ветер с юга, неся из Франции, Италии, Испании житейский мусор и запах городов, остатки взволнованного шума, обрывающийся голос человека... Лихтенберг повернулся лицом навстречу ветру; он услышал далекую жалобу женщины, грустный крик толпы, скрежет машинных скоростей, пение влажных цветов на берегу Средиземного моря. Он вникнул в эту невнятность, в безответное долгое течение воздуха, наполненное воплем над безмолвием местной суеты.

Лихтенберг подошел к труженикам у памятника. Работа людей уже прекращалась. На чугунном цилиндре стояло бронзовое человеческое полутело, заканчивающееся сверху головой. На лице памятника были жадные губы, любящие еду и поцелуи, щеки его потолстели от всемирной славы, а на обыкновенный житейский лоб оплаченный художник положил резкую морщину, дабы

видна была мучительная сосредоточенность этого полутела над организацией судьбы человечества и ясен был его напряженный дух озабоченности. Грудь фигуры выдавалась вперед, точно подтягиваясь к груди женщины, опухшие уста лежали в нежной улыбке, готовые к страсти и к государственной речи, – если придать памятнику нижнюю половину тела, этот человек годился бы в любовники девушке, при одном же верхнем полутеле он мог быть только национальным вождем.

Лихтенберг улыбнулся; одна радость еще не оставила его – он мог нечаянно, по забывчивости, думать.

– Прекрасный девятнадцатый век! – громко сказал Лихтенберг в окружавший его удушающий дух жары, машин и людей; национал-социалисты прислушались к его неясной речи: их вождь сравнил некогда мысль и слово с семейным браком, – если мысль верна лишь вождю, как своему мужу, она полезна; если она бродит в сумраке ночи, по домам отчаяния, ища удовлетворения своего в развратном сомнении и блуде с одной грустью своею, – тогда мысль бессмысленна, организованная голова должна ее уничтожить, она опасней коммунизма и Версальского договора, сложенных вместе. – Великий век! – говорил Лихтенберг. – В конце твоего времени ты родил Адольфа Гитлера: руководителя человечества, самого страстного гения действия, проникшего в последнюю глубину европейской судьбы!..

– Верно! Хайль Гитлер! – закричали присутствующие массы национал-социалистов.

– Хайль Гитлер!.. Ты будешь царствовать века – ты прочнее всех императорских династий: твоему господству не будет конца, пока ты сам не засмеешься или пока смерть не уведет тебя в наш общий дом под травой! Что за беда! После тебя будут другие, более яростные, чем ты... Ты первый понял, что на спине машины, на угрюмом бедном горбу точной науки надо строить не свободу, а упрямую деспотию! Ты собираешь безработных, всех мрачных и блуждающих, которых освободила машина, под свои знамена, в гвардию своей славы и охраны... Ты скоро возьмешь всех живых в свои соратники, и те немногие утомленные люди, которые останутся у машин, чтобы кормить твою армию, не сумеют уничтожить тебя. Императоры гибли, потому что их гвардию

кормили люди, но люди отказывались. Ты не погибнешь, потому что твою гвардию будут кормить механизмы, огромный излишек производительных сил! Ты не исчезнешь и победишь кризис...

– Хайль Гитлер!..

– Ты изобрел новую профессию, где будут тяжело уставать миллионы людей, никогда не создавая перепроизводства товаров, они будут ходить по стране, носить обувь и одежду, они уничтожат избыток пищи, они будут в радости и в поту прославлять твое имя, наживать возраст и умирать... Эта новая промышленность, труд по воодушевлению народа для создания твоей славы, окончит кризис и займет не только мускулы, но и сердце населения и утомит его покоем и довольством... Ты взял себе мою родину и дал каждому работу – носить твою славу...

Лихтенберг осмотрелся в томлении. С непрерывной силой горел солнечный центр в мусорной пустоте пространства, сухие насекомые и различные пустяки с раздражением шумели в воздухе, а люди молчали.

– Землю начинают населять боги, я не нахожу следа простого человека, я вижу происхождение животных из людей... Но что же остается делать мне? Мне – вот что!..

С силой своего тела, умноженного на весь разум, Лихтенберг ударил дважды палкой по голове памятника, и палка лопнула на части, не повредив металла; машинное полутело не почувствовало бешенства грустного человека.

Национал-социалисты взяли туловище Лихтенберга себе на руки, лишили его обеих ушей и умертвили давлением половой орган, а оставшееся тело обмяли со всех сторон, пройдя по нем маршем. Лихтенберг спокойно понимал свою боль и не жалел об исчезающих органах жизни, потому что они одновременно были средствами для его страдания, злостными участниками движения в этой всемирной духоте. Кроме того, он давно признал, что прошло время теплого, любимого, цельного тела человека: каждому необходимо быть увечным инвалидом. Потом он уснул от слабости, давая возможность, чтобы кровь запеклась на ранах. Ночью он очнулся; звезд не было, шел мелкий острый дождь, настолько мелкий, что он казался сухим и нервным, как перхоть.

Неизвестный человек поднял Лихтенберга от подножия памятника и

понес куда-то. Лихтенберг удивился, что есть еще незнакомые нежные руки, которые, прячась ночью, несут молча чужого калеку к себе домой. Но вскоре человек принес Лихтенберга в глубь черного двора, открыл дверь сарая над помойной ямой и бросил туда Лихтенберга.

Лихтенберг зарылся в теплую сырость житейских отходов, съел что-то невидимое и мягкое, а затем снова уснул, согрившись среди тления дешевого вещества.

Из экономии хозяин дома подолгу не вывозил мусор из помойного помещения, поэтому Лихтенберг прожил долго в кухонной мишуре, равнодушно вкушая то, что входит в тело и переваривается там. По телу его – от увечных ран и загрязнения – пошла сплошная темная зараза, похожая на волчанку, а поверх ее выросла густая шерсть и все покрыла. На месте вырванных ушей также выросли кусты волос, однако он сохранил слух правой стороной головы. Ходить он больше не мог – рядом с мужским органом у него повредились ноги, и они перестали управляться. Только раз Лихтенберг вспомнил свою жену Зельду, без сожаления и без любви, – одну мысль в костяной голове. Иногда он бормотал сам себе разные речи, лежа в рыбных очистках, – хлебные корки попадались очень редко, а картофельные шкурки – никогда. Лихтенберг удивлялся, отчего ему не отняли язык, это государственная непредусмотрительность: самое опасное в человеке вовсе не половой орган – он всегда однообразный, смирный реакционер, но мысль – вот проститутка, и даже хуже ее: она бродит обязательно там, где в ней совсем не нуждаются, и отдается лишь тому, кто ей ничего не платит! «Великий Адольф! Ты забыл Декарта: когда ему запретили действовать, он от испуга стал мыслить и в ужасе признал себя существующим, то есть опять действующим. Я тоже думаю и существую. А если я живу, – значит, тебе не быть! Ты не существуешь!»

– Декарт дурак! – сказал вслух Лихтенберг и сам прислушался к звукам своей блуждающей мысли: что мыслит, то существовать не может, моя мысль – это запрещенная жизнь, и я скоро умру... Гитлер не мыслит, он арестовывает, Альфред Розенберг мыслит лишь бессмысленное, папа римский не думал никогда, но они существуют ведь!

Пусть существуют: большевики скоро сделают их краткой мыслью в своем воспоминании...

Большевики! Лихтенберг в омраченной глубине своего ума представил чистый, нормальный свет солнца над влажной, прохладной страной, заросшей хлебом и цветами, и серьезного, задумчивого человека, идущего вослед тяжелой машине. Лихтенбергу стало вдруг стыдно того далекого, почти грустного труженика, и он закрыл рукою во тьме свое опечаленное лицо... Он стал печален от горя, что его тело уже истрачено, в чувстве нет надежды, и он никогда не увидит прохладной ржаной равнины, над которой проходят белые горы облаков, освещенные детским, сонным светом вечернего солнца, и его ноги никогда не войдут в заросшую траву. Он не будет другом громадному, серьезному большевику, молча думающему о всем мире среди своих пространств, – он умрет здесь, задохнувшись мусорным ветром, в сухом удушье сомненья, в перхоти, осыпавшейся с головы человека на европейскую землю.

Житейские отбросы все более уменьшались. Лихтенберг съел все мягкое и более или менее достойное пищи. Наконец в помойном коробе осталась одна только жесть и осколки керамических изделий.

Лихтенберг уснул с туманным умом и во сне увидел большую женщину, ласкавшую его, но он мог лишь плакать в ее тесной теплоте и жалобно глядеть на нее. Женщина молча сжала его, так, что он почувствовал на мгновение, что ноги его могут бежать собственной силой, – и он закричал от боли, схватил чужое тело в руку. Он поймал крысу, грызшую его ногу во сне; крыса рвалась жить с могучим рациональным нетерпением и утопала зубами в руке Лихтенберга; тогда он ее задушил. Потом Лихтенберг опробовал свою рану от крысы; рана была рваная и влажная, крыса много выпила его крови, отъела верхнее мясо и изнурила его жизнь, – теперь сила Лихтенберга хранилась в покойном животном.

Лихтенберг почувствовал скупость к бедному остатку своего существования, ему стало жалко худое тело, принадлежащее ему, истраченное в труде и томлении мысли, растравленное голодом до извести костей, не наслаждавшееся никогда. Он добрался до

мертвой крысы и начал ее есть, желая возвернуть из нее собственное мясо и кровь, накопленные на протяжении тридцати лет из скудных доходов бедности. Лихтенберг съел маленького зверя вплоть до его шерсти и уснул с удовлетворением своего возвращенного имущества.

Утром собака, как нищенка, испуганно пришла в помойное место. Лихтенберг сразу понял, увидя эту собаку, что она – бывший человек, доведенный горем и нуждой до бессмысленности животного, и не стал пугать ее дальше. Но собака, как только заметила человека, задрожала от ужаса, глаза ее увлажнились смертельной скорбью, – утратив силу от страха, она с трудом исчезла прочь. Лихтенберг улыбнулся: когда-то он работал над изучением космического пространства, составлял грезящие гипотезы о возможных кристаллических ландшафтах на поверхности далеких звезд, – все это делалось с тайной целью – завоевать разумом вселенную, – теперь же, если бы звездная вселенная стала доступна, люди в первый же день разбежались бы друг от друга и стали бы жить в одиночестве, на расстоянии миллиардов километров один от другого, а на земле бы вырос растительный рай, и его населили бы птицы.

Днем уличная полицейская власть изъяла Лихтенберга из его убежища и отвезла, как прочих преступных и безымянных, в концлагерь, огороженный тройной сетью колючей проволоки. Среди лагерной площади были землянки, вырытые для долгой жизни загнанными сюда людьми.

В лагерной конторе у Лихтенберга не стали спрашивать ничего, а осмотрели его, полагая, что это – едва ли человек. Однако на всякий случай его оставили в бессрочном заключении, написав в личном формуляре: «Новый возможный вид социального животного, обрастает волосатым покровом, конечности слабеют, половые признаки неясно выражены, и к определенному сексуальному роду этого субъекта, изъятого из общественного обращения, отнести нельзя, по внешней характеристике головы – дебил, говорит некоторые слова, произнес без заметного воодушевления фразу – верховное полутело Гитлер – и умолк. Бессрочно».

На пространстве лагеря росло одно дерево. Лихтенберг вырыл под корнем дерева небольшую пещеру и поселился в ней для

неопределенного продолжения своей жизни. Вначале его сторонились заключенные и он сам держался уединенно от них. Но потом один коммунист полюбил Лихтенберга. Это был молодой человек с черными внимательными глазами, покрытый по лицу прыщами от напора органической силы и бездействия. Он носил Альберта на руках, как мелкое, краткое тело, и говорил ему, что тосковать не надо: солнце всходит и заходит, растут ветви в лесах, в океан социализма течет историческое время; фашизм же кончится всемирной гигантской насмешкой – это улыбнутся молчаливые скромные массы, уничтожив господство живых и бронзовых идолов.

Лихтенберг пожил в лагере и постепенно успокоился. Он ждал только вечернего времени, когда возвращаются с работы заключенные, варят себе похлебку и разговаривают. Лихтенберга на работу не посылали, – потому что он мог лишь ползти по земле. Ему теперь было ничего не жалко и не страшно: ни прожитой жизни, ни любви к женщинам, ни будущей темной судьбы; он лежал в пещере весь день и слушал, как шумит гнусная пыль в воздухе и пробегают поезда по насыпи, развозя чиновников правительства по делам их господства. Когда же раздавались голоса за колючей проволокой и гремело оружие конвоя, Лихтенберг вылезал навстречу людям – в радости своего страстного и легкого чувства к ним.

Он дружил больше всего с коммунистами: голодные невольники, они играли и бегали по вечерам, как ребятишки, веря в самих себя больше, чем в действительность, потому что действительность заслуживала лишь уничтожения, и Лихтенберг елозил между ними, принимая участие в этой общей детской суете, скрывавшей за собою терпеливое мужество. Потом он засыпал со счастьем до утра и рано вставал провожать своих товарищей на работу. Однажды, роясь в бурьяне в поисках еды, он нашел обрывок газеты и прочитал в нем про сожжение своей брошюры «Вселенная – безлюдное пространство». Брошюра была издана еще пять лет тому назад и посвящалась доказательству пустынности космического мира, наполненного почти сплошь одними минералами. Уничтожение книжки подтверждало, что и земля делается безлюдной и минеральной, но это не огорчило

Лихтенберга; ему хотелось лишь, чтобы каждый день был вечер и он мог быть счастливым один час среди усталых, невольных людей, предающихся своей дружбе, как маленькие дети предаются ей в своих играх и воображении на заросших дворах ранней родины.

В конце лета, во время очередной ночи, Лихтенберг неожиданно проснулся. Его разбудила женщина, стоявшая около дерева. Женщина была в длинном плаще, в маленькой круглой шапке, не скрывавшей ее локонов, с изящным телом, грустно расположенным под одеждой, – это была, очевидно, девушка. Рядом с нею стояли два стражника.

Сердце Лихтенберга стало сильно биться в тоске: лишенный способности к любви и даже к вертикальному движению на ногах, он, однако, сейчас попытался встать на обе ноги, томимый стыдом и страхом перед женщиной, и ему удалось устоять при помощи палки. Женщина пошла, и Лихтенберг последовал за ней, снова чувствуя твердеющую силу в ногах. Он не мог ничего спросить у нее, волнение его не прекращалось, он шел, отставая немного, и видел одну щеку ее лица, она же глядела все время в сторону от Лихтенберга, в предстоящую тьму дороги.

В конторе лагеря их ожидал суд из трех военных людей. Женщина остановилась позади Лихтенберга. Судья объявил Лихтенбергу, что он осуждается на расстрел – вследствие несоответствия развития своего тела и ума теории германского расизма и уровню государственного умозрения: в целях жесткого оздоровления народного организма от субъектов, впавших в состояние животности, в целях профилактики от заражения расы беспородными существами. [1]

– Ваше слово! – предложил судья Лихтенбергу.

– Я безмолвный, – сказал Лихтенберг.

– Гедвига Вотман! – произнес судья. – Вы член местной коммунистической организации. Со времени национальной революции насмешка над верховным вождем не сходила с вашего лица. С того же момента вы, находясь уже в заключении, отказали в браке и в ответной любви двум высшим офицерам национальной службы, оскорбив их расовое достоинство. Решение суда: уничтожить вас, как личного врага племенного гения

тевтонов. Имеете слово?

– Имею, – с улыбкой ума и иронии ответила спутница Лихтенберга. – Два офицера получили отказ в моей любви потому, что я оказалась женщиной, а они не оказались мужчинами...

– Как – не мужчины?! – воскликнул судья, потрясаясь фактом.

– Их надо расстрелять за потерю способности к деторождению, к размножению первоклассной германской расы! Они, немцы, способны были любить только по-французски, а не по-тевтонски: они враги нации!

– Вы коммунистка? – спросил член суда.

– Ясно, – сказала Вотман. – Но для ответа по этому вопросу я прошу дать мне ваше оружие!

Ей отказали в просьбе.

Судья сделал коменданту обычное распоряжение о казни.

– Введите следующую пару ублюдков! – приказал судья далее.

Лихтенберга и Гедвигу Вотман вывели из пределов лагеря. Четыре офицера конвоировали их, держа готовые револьверы в руках. Впереди шли двое уголовных, несших на головах по тесовому гробу, сделанных в лагере их же руками.

Гедвига Вотман шла по-прежнему изящная и нескучная, точно уходила не в смерть, а в перевоплощение. Она дышала тем же мусорным воздухом, что и Лихтенберг, голодала и мучилась в неволе, ожидала коммунизма, она шла погибать, – но ни скорби, ни болезни, ни страху, ни сожалению, ни раскаянию она не уступила ничего из своего тела и сознания – она покидала жизнь, сохранив полностью все свои силы, годные для одержания трудной победы и долговечного торжества. Омрачающие стихии врага остановились у ее одежды и не тронули даже поверхности ее щек, – здоровая и молчаливая, она шла ночью вслед за своим гробом и не жалела о несбывшейся жизни, как о пустяке. Но зачем же тогда она яростно и губительно боролась за рабочее сословие, как за вечное личное счастье?

Лихтенбергу казалось даже, что от Гедвиги Вотман исходил влажный запах здравого смысла и пота здоровых, полных ног, – в ней ничего не засохло от горячего мутного ветра, и достоинство ее пребывало внутри самого ее одинокого тела, окруженного конвоем.

Гробовщики спустились в полевую долину и пошли дальше по ее глухому дну. Вскоре стали видны постройки давно заброшенного керамического завода, и приговоренных к уничтожению ввели в темную теснину между заводскими стенами.

Лихтенберг близко держался около Гедвиги Вотман и плакал от своего безумия. Он думал об этой неизвестной женщине с такою грустью, точно подходил к концу света, но жалел о кончине лишь этой своей преходящей подруги. Шествие повернуло за угол стены, гробовщики скрылись за каким-то неопределенным предметом. Конвойный офицер, шедший слева от Лихтенберга, попал на край пропасти, вырытой для какого-то могучего механизма, и пошел по ней осторожно и благополучно; но Лихтенберг внезапно толкнул его – по детской привычке сунуть что-нибудь в пустое место. Офицер исчез вниз и вскрикнул оттуда, одновременно со скрежетом железа и трением своих трескающихся костей. Три остальных конвойных офицера сделали движение к провальной яме, а Гедвига Вотман взмахнула краем плаща и беззвучно, с мгновеньем птицы скрылась от конвоя и от Альберта Лихтенберга навсегда. Три офицера, думая, что преступница удалилась не далее нескольких шагов, бросились за ней, дабы немедленно настигнуть ее и сейчас же возвратиться.

Лихтенберг остался один в недоумении. Офицер в яме давно умолк. Уголовные с гробами на головах – как отошли вперед, так и не вернулись. Вдалеке, уже в чистом поле, послышались два выстрела: Гедвига Вотман исчезала все более далеко и невозвратно; настигнуть ее было нельзя никому. Лихтенбергу захотелось, чтобы ее поймали и привели; он не мог теперь обойтись без нее, он желал посмотреть на нее еще хотя бы самое краткое время.

Никто не возвращался. Лихтенберг прилег на землю. Раздался еще один глухой выстрел, бессильный и неверный – в далекой ночи. Вслед за тем в лагере зазвонил колокол боевой тревоги. Лихтенберг поднялся и пошел понемногу с того места, где должна бы быть его вечная гробница, в одной могиле с телом Гедвиги; через десять лет, когда гробы и тела в них сотлели бы, когда земной прах нарушился, скелет Альберта обнял бы скелет Гедвиги – на долгие тысячелетия. Лихтенберг пожалел сейчас, что этого

не случилось.

Наутро Лихтенберг пришел в незнакомый ему рабочий поселок, где стояли шесть или восемь домов. Начинался осенний светлый день, ослабевший сор шевелился на безлюдной дороге между жилищами, издали поднималось солнце в свою высшую пустоту. Альберт дошел до крайнего дома, не встретив никого. Он очутился на околице у колодца и здесь увидел на ней памятник Гитлеру: пустынное бронзовое полутело; против лица гения находился букет железных цветов в каменной урне. Лихтенберг внимательно поглядел в металлическое лицо, ища в нем выражения.

Уйдя от памятника, он вошел в дом. Внутри дома никого не было, в запыленной постели лежал мертвый мальчик. Лихтенберг почувствовал в себе странную легкую силу, он быстро посетил еще два жилища и не нашел в них ни жителей, ни животных; с деревьев на усадьбах была содрана кора, и они засохли; из отверстий отхожих мест ничем не пахло.

В последнем доме этого вымершего или изгнанного городка сидела женщина и одной рукой качала люльку, подвешенную к потолку, а другой рукой все время кутала и укрывала одеялом ребенка, который спал в люлке. Лихтенберг спросил у той женщины что-то, она не ответила ему. Глаза ее не моргали и смотрели в колыбель с долгой сосредоточенной грустью, ставшей уже равнодушной от своего терпения. Лицо женщины имело от голода и утомления коричневый цвет, как рубашка фашиста, наружное, подкожное мясо ушло на внутреннее питание, так что с костей ее сошла вся плоть, как осенняя листва с дерева, и даже мозг ее из-под черепа рассосался по туловищу для поддержания сил, поэтому женщина жила сейчас без ума, память ее забыла необходимость моргать веками глаз, размер ее тела уменьшился до роста девочки, только одно горе ее действовало по инстинкту. Она с непрерывной энергией все качала и качала дешевую люльку и с неутомимой, берегущей нежностью укрывала спящего ребенка от неощутимого для Лихтенберга холода.

— Он уснул уже, — сказал Альберт.

— Нет, они никак не засыпают, — ответила теперь мать. — Я их качаю вторую неделю. Все время зябнут и заснуть не могут.

Лихтенберг наклонился над колыбелью; женщина отвернула ему

одеяло сверху: в люльке на общей маленькой подушке лежали с открытыми глазами две почерневших головы умерших детей, обращенных лицами друг к другу; Лихтенберг снял одеяло вовсе и увидел мальчика и девочку, лет по пяти или шести, уже сплошь покрытых трупными пятнами. – мальчик положил одну руку на сестру – для защиты ее от ужаса наступившей вечности, а девочка – сестра держала руку ладонью под щекой, доверчиво и по-женски; ноги их остались невымытыми со времени последней игры на дворе, и синева холода – изморозь – действительно распространялась по тонкой коже обоих детей.

Мать снова укрыла покойных одеялом.

– Видишь, как озябли, – сказала она, – поэтому и уснуть не могут!

Лихтенберг опустил пальцем веки на четырех детских глазах и сказал матери:

– Теперь они уснули!

– Спят, – согласилась женщина и перестала качать колыбель.

Лихтенберг пошел в кухню, разжег в ней очаг, пользуясь для топлива мебельной утварью, и поставил на огонь большую кастрюлю с водой. Когда вода закипела, Альберт пошел к женщине и предупредил ее, что он сейчас поставит вариться мясо, пусть она не засыпает – скоро они будут обедать вдвоем; если же он сам нечаянно заснет на кухне, пусть она поглядит за мясом и обедает одна, когда кушанье поспеет, не ожидая его пробуждения. Женщина согласилась подождать и пообедать и велела Альберту положить в кастрюлю особый и лучший кусок – для ее детей.

В кухне Лихтенберг как можно сильнее разжег огонь, взял косарь и начал рубить от заросших пахов свою левую, более здоровую ногу. Рубить было трудно, потому что косарь был давно не наточен, и говядина не поддавалась; тогда Альберт взял нож и наскоро срезал свое мясо вдоль кости, отделив его большим пластом до самого колена; этот пласт он управился еще разрубить на два куска – один получше, другой похуже – и бросил их вариться в кипящую кастрюлю. Затем он выполз наружу, на разгороженный двор, и лег лицом в землю. Обильная жизнь уходила из него горячим ручьем, и он слышал, как впитывалась

его кровь в ближнюю сухую почву. Но он еще думал; он поднял голову, оглядел пустое пространство вокруг, остановил глаза на далеком памятнике спасителю Германии и забыл себя – по своему житейскому обыкновению.

Через два часа весь суп выкипел и мясо изжарилось на собственном сале, огонь же потух.

Вечером в этот дом пришел полицейский и с ним молодая женщина с восточным тревожным лицом. Полицейский разыскивал при помощи женщины государственного преступника, а женщина, не зная мысль полиции, искала при помощи государства своего бедного безумного мужа.

Полицейский и его спутница нашли в доме мертвую женщину, уткнувшуюся лицом в колыбель с двумя детьми, так же одинаково мертвыми. Мужчины здесь не было.

Увидев в кухонном очаге кастрюлю с питательным и еще теплым мясом, уставший полицейский сел кушать его себе на ужин.

– Отдохните, фрау Зельда Лихтенберг, – предложил полицейский.

Но взволнованная женщина не послушалась его и вышла бесцельно из дома – через его кухонную дворовую дверь.

Зельда увидела на земле незнакомое убитое животное, брошенное глазами вниз. Она потрогала его туфлей, увидела, что это, может быть, даже первобытный человек, заросший шерстью, но скорее всего это большая обезьяна, кем-то изувеченная и одетая для шутки в клочья человеческой одежды.

Вышедший потом полицейский подтвердил догадку Зельды, что это лежит обезьяна или прочее какое-нибудь ненужное для Германии, ненаучное животное; в одежду же его нарядили молодые наци или штальгеймы: для политики.

Зельда и полицейский оставили пустой поселок, в котором жизнь людей была прожита без остатка.

Андрей ПЛАТОНОВ. Neкаýalar